

«Насколько я знаю русскую художественную литературу, Андрей Битов в своем отношении к слову, фразе, к языку в целом не имеет ни предков, ни современников», — личное мнение его старшего коллеги, лауреата Государственной премии СССР Чабуа Амирэджиби.



Андрей БИТОВ:

Это был первый авторский вечер А. Битова в московском Доме литераторов.

«Дело прошлое — сейчас оно мне не кажется таким уж важным, но если вспомнить свое ощущение перед тем вечером, то помню, что я его и опасался, и считал серьезным испытанием. Думал, как я выдержу, как продержу столь большой и ответственный зал. Если честно, боялся провала. По тому чувству опустошенности, которое возникло у меня после заключительных аплодисментов, я понял, что в какой-то мере справился с делом, сумел занять людей одним лишь разговором, что контакт был». Такой оказалась авторская мини-рецензия, когда мы с Андреем Георгиевичем стали обсуждать саму идею подготовки к печати отрывков стенограммы встречи в ЦДЛ.

После совместной работы А. Битов попросил записать нечто вроде предисловия, адресованного читателям «Недели»: «Подобные публикации всегда внушают мне опасения, уж больно разные агрегатные состояния слова: устное и письменное. И что за текст, в котором нет заикания, пауз, повторов, молчания! Без подобной оркестровки всегда, оказывается, пропадает более половины смысла сказанного, ибо я говорил не по писаному».



Начинать всегда трудно: у прозаика нет концертного номера, как у артиста. Пока не пришли вопросы, которые я прошу (их интеллигентная публика не любит задавать или задает слишком поздно), приходится заполнять паузу. Я уже на сцене: придется говорить о себе.

Недавно Маканин, Крупин и я побывали в Финляндии. Выступали несколько дней подряд, неизбежно повторяясь. Когда чувствовали, что ты сосед тоже не без ушей и слышит, что ты можешь сказать в третий, четвертый раз, и когда мы попытались варьировать наши тексты уже не для публики (читатель в зале — иноязычный — стал как бы отсутствовать), мы начали говорить как бы вообще, дабы не потерять уважение в глазах друг друга. И тогда я обнаружил вдруг, что отдел кадров, несмотря на все заведомое к нему отношение, выработанное у интеллигенции, как к такой контроле (это понятно — устали мы от контор), так вот, отдел кадров мудр: больше, чем, ответив на первые пять пунктов анкеты, сказать о себе невозможно. И правда — я, Битов Андрей Георгиевич, родился в Ленинграде 27 мая 1937 года, русский, беспартийный, пол мужской; все остальное — второй план.

Сейчас я разглядываю эту мысль, потому что она по своей простоте для меня нова... Человек, мне кажется, очень сильно преувеличил себя — с чем мы теперь имеем дело — не только внутри своего Отечества, но и во всемирном масштабе. Человек занял явно не свое место, так и не успев распознать его в природе. И он оказался на грани катастрофы во многих аспектах: социальном, межнациональном, экологическом... Как ни странно, об этом мы стали задумываться сравнительно недавно — 10—15 лет назад. Не сделал никаких выводов, мы продолжаем идти по нами же заминированной дороге.

Когда я стал прислонять к себе идею неправильно занятого места, вдруг понял, что она прекрасно относится к каждому. Мы, например, хотим выглядеть или добиться чего-то лучшего относительно друг друга. Это, оказывается, как правило, — то, что рядом: по закону палаты, камеры, коллектива, чего угодно. Иерархия, которой мы добиваемся внутри нам данного, — одно и нами хорошо изучено, а другое: кто ты есть, помимо того, что тебе дано? Когда добиваемся маленького «сверх», чувствуем себя е большой буквы. Сейчас не хватает, самоощущения не хватает, тогда — социальные регалии в виде наград, персональных машин, кабинетов... Вот чем, и чем-то еще, мы пытаемся отличиться от других. Впрочем, нет такого че-

ловека, который чем-либо не был вполне замечателен. И не только в гуманистическом смысле, но и в собственных глазах. Ведь за каждым — невероятная, на миллион лет уходящая назад цепь древа родового, и как бы он плохо ни знал его корни, он — единственный представитель уже миллиона.

— Книги «Птицы, или Новые сведения о человеке», «Грузинский альбом», рассказ «Человек в пейзаже» (журнал «Новый мир» № 3 за 1987 г.)... — за последние 10 лет во много раз возвращались к этой теме, месту человека на земле. В связи с этим могли бы вы познакомить нас с тем, кто есть... Андрей Битов?

И началось то самое «взаимостаскивание». (Они как бы «стаскивали» друг друга за волосы). Хотя отдельные вещи печатались гораздо более крутые, чем в 50—60-е годы. Но кончилось какое-то ожидание в литературе, и события, да и сама жизнь, стали утомлять все больше и больше. Когда время неподвижно, человек утомляется душой. Утомившись, он пересел к телевизору, начался так называемый вещизм. Этой паузой, тишиной, люди воспользовались для того, чтобы обставиться, обжиться, одеться, обуаться. В общем не до книг стало, а когда они вернулись, то оказались на «телевизионном» уровне.

И началось то самое «взаимостаскивание».

Кедров. — 1987 — июль (№ 22). С. 89

Чувство Дома

— Вопросы меняются — ответ мой прерывен. То есть так ли уж много я написал или такое уж написал, как иной раз кажется? Мне все же в каком-то смысле дано. Дано не счастливым детством, которому «спасибо», а дано тем, что пишу по-русски. Русский язык существовал, учился, думал, страдал, выносил и донес все свои слова до меня. Дано, потому что я только ленинградец и только 1937 года рождения. Дано, потому что у меня были такие родители. Дано, потому что я — биологический вид по имени человек. И если я начну понемножку все от себя отстегивать, то разница окажется чрезмерно маленькой. Хотя на тонких различиях мы можем построить культуру, интеллигентность нашей жизни. И только тонкие различия принципиальны. Получается, что мы работаем все время как бы в двух энергиях. Одна — принадлежность всему бытию, другая — тонкие различия, которые мы можем навести на себя в течение всей жизни. Тонкий глянec — дай бог, чтобы он был культурой, интеллигентностью, общежитием. И не дай бог, чтобы он стал только иерархией, и только подавлением, и только властью.

— Наша страна — «самая читающая в мире». Каковы ваши взаимоотношения с читателем? Изменился ли он?

— Думаю, что одновременно падал и уровень читателя, и уровень писателя, ли-

«Мы для вас написали, дорогие читатели» или: «Сейчас вам сплет певец такой-то». Телевизор стал окончательно неприличным, когда начали на экране «ласкаться» друг друга: пало взаимоотношение читателя и писателя.

И не столько, допустим, я стал писать сложнее (ответ на тогдашние упреки), сколько, по-моему, читательская готовность к напряжению при встрече с текстом осталась на прежнем уровне или опустилась гораздо ниже.

Так красиво я оправдывал то, что якобы пишу сложнее, чем готов воспринимать массовый читатель. Теперь вижу здесь немного другой оттенок, потому что возник огромный разрыв между твоим текстом и его опубликованием. Нередко он растягивался на 5, 7, 10 лет: я всегда знал, что вещь напечатают самое быстрое через три года. Постепенно у меня эта пуповина, желание взволновать читателя немедленно, отпала. А когда мы начинали в конце 50-х годов, у нас тоже не было возможности печататься, однако мы проводили своеобразную устную публикацию: собирались в кружки и кружочки... Читая друг другу, мы рассчитывали на аудиторию: будут ли смеяться, шевельнется ли зал. Потом, когда у одних пошла, у других — нет кое-какая печатная судьба, а время ожидания, оживления замерло, то все это распалось: люди перестали со-

браться, устные публикации исчезали. Возникли такие явления, как сначала Владимир Высоцкий, потом Михаил Жванецкий. Они прошли мимо жанра потому, что возник магнитофон, а не бумага.

Возвращаясь к себе, скажу, что связь «читатель—писатель» была утрачена. Сейчас, когда вижу опубликованные вещи, недавно написанные, ощущаю потребность возвращения к ним. Нужны возможности, а когда они разорваны, когда любовь, так сказать, по очень отдаленной перепишке, — все утрачивается. Возможно, в чем-то я и неправ. Так что буду стараться написать... детектив высокого класса.

— Назовите, пожалуйста, свои любимые места в Ленинграде, Москве.

— В Ленинграде — это Аптекарский остров, где я родился. Здесь, что и говорить, люблю все. А в Москве — то, что от нее осталось. Потому что я впервые приехал сюда взрослым человеком: мне было 23 года. Даже на расстоянии в 27 лет я вижу на глаз, хрусталик, что произошло. Естественно, я — человек с предубеждением. Тем не менее чувствую, какой нанесен Москве непоправимый урон.

Больше всего люблю Бульварное кольцо. Когда я за рулем, то предпочитаю прокладывать всякий маршрут не по Садовому (где сад-то? Его нет — слава богу, слово хоть оставили): по бульварам можно прокатиться кругом и не натолкнуться почти ни на что.

— Можете ли сказать, что же есть теперь Москва, узнал бы ее человек, родившийся здесь, допустим, до войны?

— Как-то я въезжал в Москву после трехсот верст тяжелой дороги и аварии. Представляете мое состояние? Была ночь, туман, светятся одни фонари. Вдруг мне показалось, что это — конец. Настолько увиденное не походило на человеческое жилище. А это был, между прочим, хороший въезд с Ярославского шоссе. Что делать? Дегуманизация жилища — объективный процесс. Сетовать — одно, а понять надо. Все, что строилось раньше, возводилось надолго. Не только в техническом, но и в моральном смысле. У нас есть люди, бескорыстно, отважно и полностью посвятившие себя этой проблеме — им и слово. Не обижайтесь, но я все-таки не москвич. До сих пор.

— Мы видели вас в картине «Чужая Белая и Рябой». Вам нравится работать артистом кино?

— В юности я, конечно, хотел быть ловким и красивым, а у меня ничего не

получалось. Однажды мне поручили передать чью-то рапиру. И я пошел с ней под мышкой (никогда не умел фехтовать), но чувство гордости, которое меня преследовало, запомнил навсегда. С тех пор, когда занят чужим делом, когда мне приходится носить, скажем, чужой музыкальный инструмент, выгляжу значительным в собственных глазах. Пожалуй, это естественно, человечно. Так же и в кино. Я сыграл роль в фильме Сергея Соловьева, и сыграть оказалось гораздо проще. Гораздо проще делать не свое дело.

Взять, например, и написать стихи, и опубликовать их. Сразу скажут: «О, ты стих написал!» А я им в ответ: «Вот ты не читал, прозу я, прозу написал!» (смеется). Одно могу сказать: Соловьев — бесспорный профессионал, и он бы меня не взял никогда, если бы на 100 процентов не уготовил такую нишу, в которой я как бы ни повернулся, все равно пригодился бы. Так что мне работать не пришлось: он меня угадал. Как сказал один опытный странник, в путешествии самое приятное — неожиданное отклонение от маршрута. «Поворот» в кино был приятен.

— Зачем вы — один из лучших прозаиков (это я прочту с удовольствием. — Прим. А. Битова) позволяете себе брать какие-то легкомысленные сюжеты? И вообще, какое нам дело до того, сколько лет ваши книги шли к читателю?

— Как это — «какое дело»? Встреча со мною, неужели не понимаете? Тогда берите книги, журналы и читайте. Встреча со мною: я рассказываю, как эти книги шли к вам. Что ж, мое право, поскольку вы пришли на встречу со мною.

Я и так пропускаю почти все вопросы типа «как оно делается?» или «как задумывается?», помня про дежурный ответ: «А какой нам интерес — давай готовый продукт». Кстати, вот одна из причин, по которой съезжают вниз взаимные связи: «читатель—писатель». Без читателя писатель — килограмм бумаги. И то попробуй добейся, чтобы его издали. Без читателя любая книга — ничто, макулатура. Читатель — все, потому что в нем книга оживает. Ожить она, написанная, в писателе не может. Считаю, что это — абсолютное единство, из которого по каким-то странным обстоятельствам все время выпадает звено — издатель. Успех — это единомыслие читателя и писателя.

«Какой нам интерес?» Вот голос потребителя, а не читателя — расселся, разлегся. Все сейчас любят Владимира Высоц-

кого, но попробуйте все-таки представить, что этот парень сделал. Можно не любить его жанр, бардов, поэзию не самого высшего сорта, но он же, черт знает, какую выволок глыбу, массу из молчания. Только теоретически можно представить: я там себе в левом уголке пишу — а на него ложится балка восприятия всей нации, страны. Это — крест. Настоящий артист ведет себя так, вообще, будто работа ему ничего не стоит, будто несет пушинку. Не мне о том говорить. Я еще свой вес не зафиксировал. Не умел.

— В чем, по вашему мнению, сейчас должен проявиться патриотизм советского человека?

— Сейчас... (Долгая пауза). В работе.

— Вы как-то говорили, что Пушкин появился, когда в России оформилась бытовая сторона жизни. Можно подробнее об этом? И еще. Есть ли понятие «дом» или ощущение «бездомности» современного героя в сегодняшней литературе?

— Такой интеллигентный, умный человек написал, что, по-моему, он уже все мысли сообщил. Если я и обмолвился где-то про взаимосвязь Пушкина и быта, то цитировал Дмитрия Сергеевича Лихачева. У Пушкина, по-видимому, было все в порядке с бытом. Когда эпоха достигает упорядоченного быта («упорядоченного» не только потому, что все есть, а в смысле какого-то порядка), человек становится на несколько параметров свободнее, что ли. Быт пушкинской эпохи освободил нам Пушкина.

Мы сильно надсадились за последние годы, чтобы жить в отдельных квартирах, купить автомобиль, носить что-то получше. Само по себе желание жить лучше не вызывает во мне никакого осуждения. Вызывает осуждение то, что мы надсадились, слегка надорвались на этом. По-видимому, человек должен пережить голод. Если он думающий, с душой, то переживет, и «гонка» отпадет.

Помню, что после блокады моя мама, хрупкая женщина, съедала почему-то всегда по две тарелки супа. Это прошло через семь лет. И связано с нашим так называемым вещизмом, который ныне легко осуждается. Думаю, что если успешно пойдет перестройка, если дадим одним людям делать то, что они могут, а другим — то, что они смогут, — тогда не надо делать лишние, чужие дела, которые тебе все равно даются хуже, чем профессионалу. И тогда будет Дом, нач-

нется забота о нем, а не его набивание. И Дом — это гораздо шире: вся наша страна, ее реки и озера. ...Когда возникнет чувство Дома, тогда, кстати, и кончится вещизм. Действительно, это проблема мира, потому что вещизм искажает материю, растрчивает творение. Можно и одни штаны носить, лишь бы жизнь была.

Я хотел бы, чтобы всем этим общество переболело быстрее. Тогда оно скорее придет к идее Дома, где живут другие люди. Главное — здесь живешь не только ты, но и другие. Я надеюсь на такое время. Для меня символом гласности стало появление на ТВ дикторши для глухонемых телезрителей. Seriously. Я даже удивился: мне показалось, что она рано появилась на телеэкране, что она — символ будущего. Нам еще долго говорить да слушать, потому что посадить или «расстрелять» в печати самого высокопоставленного чиновника — это еще не гласность. Лишь какая-то из сторон справедливости.

Например, что сказать о наших вялых, слабых, косых попытках поговорить с молодежью?.. Сейчас хотя бы признают, что она есть. Мол, даже есть неформальные объединения... Какое замечательное слово — «неформальное»! Язык не соврет, всегда скажет правду. Так говорят уже и должностные лица. Может, мы не столько боимся молодежи, сколько пугаем?.. Может, они потому такие полосатые, что мы в них людей не признавали? Вот на каком мы уровне.

Это, так сказать, мысли для детей, а не для взрослых. Тем не менее их надо объяснить. Мы признаем, что есть молодежь, что есть старики, что есть глухонемые (уже признали), что есть больные. Но мало одного признания. Вот когда для тех же больных, к примеру, построят нормальные инвалидные коляски, сделают костыли, на которых удобно ходить, — это и будет настоящей гласностью. Потому что собственная кожа человека не есть граница его тела и души. Он должен выйти из своей оболочки, чтобы постичь боль соседа. В противном случае это не человек, а носорог: у него чем кожа толще, тем лучше. А когда кожа проходит там, где болит у других, — это гласность. Думаю, мы придем к такому пониманию человеческой жизни.

Записали Ирина МАЛЯРОВА, Гайик КАРАПЕТАН.